

На литературном посту

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
МАРКСИСТСКОЙ КРИТИКИ
ПЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

Редакционная коллегия:

Л. Авербах, В. Ермилов, В. Киршон,
Ю. Либединский, Ф. Панферов, В. Су-
тыркин, А. Фадеев и Н. Шушманов

НОЯБРЬ 1930 г.

21-22

ЛИЦО НАШИХ ПРОТИВНИКОВ

В литературу идут новые кадры пролетарских писателей. Вопросами литературы начинают активно интересоваться все более широкие слои читателей. Растет интерес к проблемам литературного движения, к истории его борьбы.

Редакция «На литературном посту» считает целесообразным дать широкому читателю представление о некоторых противниках генеральной линии пролетарского литературного движения, так как это облегчит читателю понимание сущности напостовской борьбы.

За последнее время усилилась борьба с воронщиной, в соответствии с активизацией самой воронщины. Но о вожаке этого правооппортунистического, капитулянтского литературного направления — о самом А. К. Воронском — уже давно не было статей. Редакция считает полезным воспроизвести идейный облик одного из главных представителей капитулянтства в области литературы.

Последние полтора года пролетарское литературное движение вело напряженную борьбу с переверзевщиной. Многие из переверзевцев формально отказались от своих позиций. Однако многие из них проявили здесь литературно-политическое двурушничество: отказываясь от переверзевщины на словах, они проводили переверзьянство в своих работах. Образцом такого двурушничества является Зонин. Его статьи и книги имеют тот единственный полезный смысл, что лишний раз подчеркивают, насколько актуальной является задача борьбы с переверзевщиной. Поэтому для широкого читателя нелишним явится ознакомление и с Зониным.

В период боевого наступления пролетарской литературы особо опасными являются настроения хвостизма, цеховой ограниченности, — выступают ли они в откровенно капитулянтском, или в «левом» облачении».

Совсем недавно была идейно разгромлена небольшая малограмотная и никогда не имевшая значения в пролетарском литературном движении, но все же вредная право-оппортунистическая группа Тоом, Бека и Кикодзе.

Следует указать читателю, что настроения цеховщины, выражавшиеся этой группкой, выражались еще ранее т. Поповым-Дубовским.

Борьба на два фронта требует усиления борьбы и с «левыми» уклонами и загибами, стремящимися к блоку с основной — правой — опасностью.

Недавно, в связи с двурушнической фракционной работой блока Сырцова — Ломинадзе, стал совершенно ясным политический смысл ультра-«левизны» группки «Настоящее». Этой группке также мы посвящаем статью.

Борьба за генеральную линию пролетарского литературного движения требует от нас идейной непримиримости. Беспощадная борьба с конкретными носителями правого и «левого» оппортунизма — одно из проявлений большевистской непримиримости.

А. ВОРОНСКИЙ

Пролетариат и его партия, строящие социализм, — строгие экзаменаторы. Выдвигая людей в штабы своих корпусов и дивизий — политических, хозяйственных, культурных, они на ходу, в работе, испытывают своих выдвиженцев, и многие оказываются слабыми, лишенными крепкой выдержки, трусливыми, непригодными. Умение в данной области работы строить социализм и мобилизовать на это дело массы, трезвое понимание окружающей обстановки, гибкое использование ситуаций, складывающихся в развитии движущих сил действительности, острота классового чутья, волевое напряжение, подчиняющее все и всех решающей задаче, определяемой революционной целесообразностью, — таковы важнейшие свойства, необходимые штабному работнику войсковых соединений социалистической армии.

И так как этих качеств нередко оказываются лишенными и люди, на которых, казалось, можно было бы положиться, биографии которых содержали, казалось, данные, могущие служить залогом успешности их деятельности, то неизбежно пополняется разряд «отставных», в лучшем случае снятых с боевых участков для скромной тыловой работы.

Сейчас мы и попытаемся кратко охарактеризовать одного из таких «отставных», былого литературного вождя — А. К. Воронского.

Мы не хотим сказать, что Воронский вообще не годился для роли вождя литературы. Отнюдь нет. Если бы партийное руководство, если бы власть в стране захватили оппортунисты, то на тот очень короткий срок, который отделял бы совнарком переродившихся коммунистов от диктатуры Пальчинского, Воронский был бы незаменим, он был бы на своем надлежащем месте, пока его не сменил бы какой-нибудь бывший «попутчик», Рамзин от литературы.

Воронский — несомненно талантлив. Но таланты его — таланты либерала. Воронский пытался как-то раз охарактеризовать того человека, который нужен для индустриализации страны. Он сказал тогда о необходимой «американской деловитости», но в соединении ее не с тем «русским революционным размахом», о котором говорил Сталин, а с «широкой русской натурой». Прочитывая известные строки из «Скифов» Блока: «Мы любим все — и жар холодных числ, — и дар бо-

жественных видений...», — Воронский затем, перечисляя свойства российской натуры, отвел почетное место среди них «богатству и разнообразию эмоций и мыслей, способности молодо и жадно воспринимать разнообразные впечатления и отвечать на них». А вот как недавно рекламировала себя одна крупная западно-европейская буржуазно-либеральная газета, стремящаяся быть «многосторонней, как жизнь»: «Читайте нашу газету, и из каждой строки вам будет светить сама жизнь, пестрая и многообразная, достойная того, чтобы быть нами воспринятой и переработанной». Случайное совпадение вырванных цитат? Нет, органическая близость, вытекающая из того, что широкая национальная русская натура, так, как ее понимает Воронский, оказывается широкой интернациональной, либеральной натурой!

Пристальное импрессионистское внимание к пестрым краскам жизни, не умеющее улавливать ее решающих классовых тенденций и структурных линий; терпимость к «явлению» жизни, игнорирующая «сущность» последней и парализующая волю; склонность сопереживать и смотреть, а не действовать и строить; умение чутко перевоплощаться и полное нежелание преследовать собственные классовые цели; готовность простить яркой индивидуальности все и всякие идейные шатания. — вот какими «достоинствами» хочет обладать «либеральный интеллигент» (здесь мы не говорим об объективных классовых корнях либерализма, особенно современного, все отчетливее сближающегося с фашизмом), и вот чем либерализм наградил Воронского, тщетно пытавшегося быть пролетарским, ленинским революционером.

Эти черты сказались и в том, как Воронский в своих почти беллетристически оформленных воспоминаниях рисовал большевиков-подпольщиков, и в том, какие проблемы он поручал разрабатывать там своим персонажам. Не случайно Валентин любит «разнообразие чувств», «кавардак мыслей», «сложность натуры» и видит именно в этом особенности гения, а потому совсем в стиле радикально-интеллигентской фразеологии, щеголяющей эксцентричными определениями, объявляет Ленина «очень последовательным и... очень непоследовательным». Не случайно Воронский, в собственном изображении, изучается (в период жестокой царской

реакции) мыслями о том, что после свержения царизма «будет у нас открытая, большая партия, с обывателями, с попутчиками, и в ней потонет кадр профессиональных революционеров»...

Кажется, трудно представить себе более органическое переплетение «левой» фразы, предсказывающей обывательское перерождение партии с откровенно оппортунистической боязнью пролетарских масс и испугом перед задачами строительства, происходящего на фундаменте активности этих масс.

Те же самые, выше охарактеризованные черты определяют и деятельность Воронского, как литературного политика и критика. Воронский видит «стиль эпохи», но не видит стилей классов потому, что «наш стиль часто подчиняет себе людей иных классовых прослоек». Цель классовой борьбы, с точки зрения пролетариата, Воронский видит не в ликвидации кулачества, а в... классовом сотрудничестве: «Мы хотим, чтобы участники служили нам, на этом основании буржуазия допускается к строительству...»

Поэтому естественно отпадает и вопрос о перерабатывании попутчиков, об изменении их идеологии, ибо, оставаясь рупором даже антипролетарских настроений, такой писатель может... «служить нам»: «Было бы величайшей нелепостью попытаться окоммунизировать нашу литературу в крестьянской стране со слабо развитой индустрией. Мы твердо должны помнить, что огромное количество наших художников — прозаиков и поэтов — неизменно будут приносить в литературу настроения, нам, коммунистам, чуждые, несвойственные».

Правда, Воронский требует от попутчика ясного ответа на вопрос — «с кем он — с новым чумазым или со строителями социализма», но очевидно, что, допуская возможность классового сотрудничества с чумазыми, Воронский тем самым лишает поставленный вопрос всякой остроты, а объявляя «халтуру, обывательщину гораздо опасней буржуазной идеологии в прямом виде», сам расписывается в своем неумении оставаться на почве классового анализа.

Здесь лежат и корни конкретно-критических оценок Воронского, лишенных социально организующей мысли, импрессионистских, либерально терпимых. Поэтому «Тайное тайных» Вс. Иванова — «книга и отрадная и печальная», а «Роковым яйцам» Булгакова дается беспримерная по критической растерянности и беспомощности характеристика, в которой Воронский пытается отделаться наивными вопросами, увертливыми «может быть», демонстрируя подлинный «кавардак мыслей» и «разнообразие чувств». Поэтому же Воронский, следуя заветам либерального мягкосердечия и видя тягу Хлыч-

кова к «патриархальной деревенщине», отказывается признать его реакционность «в узко политическом смысле» и удостоверяет, что не только Клычков, но и Клюев «и за Октябрь и за Май».

Тот же либеральный субъективизм позволяет Воронскому утверждать, что и Вс. Иванов и Фадеев ставят «большие вопросы жизни и смерти», и не видеть вовсе в «Разгроме» проблему коммуниста-организатора.

Воронский был полпредом оппортунизма в литературной политике, и именно поэтому он никогда не мог бы стать из мецената попутчиков, из корректирующего произведения последних доброго дядюшки — строителем пролетарской литературы, работником культурной революции.

Воронский, как всякий оппортунист, проводил, конечно, не пролетарскую, а мелкобуржуазную линию в литературной политике. Иначе говоря, он проводил не столько «свою» линию, сколько трусливо, «критически» комментировал чужую. Творческой программой Воронского было не создание пролетарской литературы, а поправочки к литературе попутнической. Больше того, своим примиренческим отношением к реакционным тенденциям попутчиков Воронский не вел их к пролетариату, а вместе с ними уходил от рабочего класса. Воронский, в общем и целом, считавший приемлемым такие реакционные произведения, как «Тайное тайных» Иванова и «Ивана-Москву» Пильняка, Воронский, восхищавшийся «Заказом», вовсе не видя опасных сторон этой пьесы Бабеля, — Воронский был «штемпелюющим коммунистом» в литературе, «хвостиком» попутчиков. Под его «руководством», точнее — при его попустительстве, попутчики (не все, конечно, но многие) могли стать врагами коммунистической партии. Логика классовой борьбы такова, что Воронский, проводя чуждую партии линию, являлся орудием в руках классового врага.

Для оппортуниста характерно почтительное и послушное следование старым буржуазным традициям. Воронский и ставил вопросы литературы в старых буржуазных рамках. Призыв ударников в литературу, нарушающий все досоциалистические представления о литературных кадрах и о жизни и росте литературы, был бы, конечно, немыслим, если бы Воронский находился «у власти». Когда Воронский выступал перед рабкорами, то это было выступление типично профессионально-писательское, литературно ограниченное. Воронский советовал завести записную книжку, научиться «влезать в чужую шкуру», он сообщал рабкорам о том, что писатель замечает в жизни нечто, всем остальным людям «никогда» не попадающее на глаза. Кстати сказать,

Воронский приводил в качестве примера «перевоплощения» — Наполеона из «Войны и мира», хотя совершенно очевидно, что здесь-то мы имеем явно внешнее и явно недружелюбное изображение исторического лица писателем. Указание же Воронского на то, что если вы «не можете влезть в человека, которого хотите изобразить, не можете отказаться от самого себя, мыслить на время его мыслями, чувствовать его чувствами, то значит — надо искать другого человека, в которого вы можете внедриться, в нутро которого, так сказать, можете влезть», — это указание органически сплетается и с переверзевской концепцией «заколдованного круга» образов данного художника, и с реакционными пришивинскими теориями о том, что у писателя есть только одна тема — «своя сужензя». А об особых преимуществах, которые будущему писателю дает работа рабкора, о рабкорах, как резерве пролетлитературы, Воронский не считал нужным сказать ничего. Когда Воронский, что бывало очень редко, заговаривал о культурной революции, то оказывалось, например, что последняя «настоятельно требует»... именно и прежде всего исторических романов. Когда Воронский, чего не случалось почти никогда, пробовал формулировать злободневные темы и проблемы литературы, то он и здесь оставался целиком во власти дряхлых литературных традиций и не без наивности сообщал, например, о том, что «за последний 1927 год меня особо интересовал вопрос о лишних людях «революции», т. е. о людях, не умеющих перейти от эпохи военного коммунизма к нэпу. Так вопрос, злободневный лишь для социально ничтожных, деклассированных групп, оказывался центральным для человека, претендовавшего быть представителем коммунистической партии в литературе. Впрочем, для полного отсутствия общественного чутья у Воронского показательное его предсказание, сулящее «Заказу» Бабеля успех ивановского «Бронепоезда».

Воронский не раз подчеркивал в своих статьях, что он коммунист и марксист; но на деле его марксизм ограничивался признанием того, что «художник берет материал из той самой действительности, в которой он живет». Понимание же литературы, как идеологии, для Воронского было неприемлемо вовсе. Наоборот, по Воронскому, именно искусство привело больного и ненормального, «искривленного общественно человека» (того самого человека, который, например, делал революцию) к «девственно ярким, не испорченным, подлинным образам мира», того мира, которому ближе всего ребенок и писатель, отдающийся во власть «темной, таинственной, бессозна-

тельной жизни». А ведь по отношению к этой последней Воронский рассматривал наше сознание лишь как «послушное орудие».

Именно поэтому мы, напостовцы, с нашим классовым подходом к литературе казались Воронскому лишь грубыми, некультурными мальчишками, разрушающими столь благоустроенный, под его, Воронского, покровительством, литературный мир. А в этом мире, в этом царстве божьем литературного оппортунизма, попутчику со «своей правдой» художника жилось бы легко и привольно, никто не мешал бы писателю-жрецу отдаваться воспоминаниям детства и реакционным увлечениям, а самый «левый» фланг литературы был бы занят «содружеством писателей революции «Перевал», — писателей интеллектуально бессильных, художественно вялых, ограниченных и самодольных.

И конечно, излишне пояснять, что Воронский не был в состоянии предвидеть возможности и темпы развития пролетлитературы; эти темпы ударили его обухом по голове.

Когда сейчас перечитываешь книжки Воронского, то удивляешься их архаичности, устарелости, — настолько быстро вперед идет страна, в которой строится социализм. Хочется даже сказать, что порой мы, напостовцы, с излишним уважением относились к Воронскому, нашему старейшему противнику: настолько он далек от современности, настолько его талант никчемен. Но нельзя забывать, что, если сам Воронский в отставке, зато активизируется воронщина в лице своих более мелких, но зато и более ловких и увертливых представителей, оставаясь главной и основной, правой опасностью в литературной политике.

Теории Воронского, пусть опошленные и примитивизированные, популяризируются Горбовым, Пакентрейгером, Лежневым, они служат базой творческой практики «Перевала», они неизбежно окажутся отправной точкой для выступлений всех и всяких художественных реакционеров. Для последних принципы интуитивизма и наивного реализма, проповедывавшиеся Воронским, еще долго будут наиболее удобным средством для того, чтобы отделить искусство от идеологии, от общественной практики, от классовой борьбы.

Воронский исходил из гегемонии «темной, таинственной, бессознательной жизни» над сознанием. Поэтому для него драгоценна именно и прежде всего «свежая в детстве, древняя тайна первоначальных восприятий, находившихся у порога сознания». И только «неподдельное, подлинное искусство всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти образы мира». В этом «тайна искусства».

Поэтому «для того, чтобы дать волю художественным потенциям, надо стать невежественным, глупым, отрешиться от всего, что вносит в первоначальное восприятие рассудок».

Таков катехизис Воронского, такова платформа художественной реакции.

На этой платформе стоит Пакентрейгер, утверждающий, что «художник идет навстречу рассудку, а навстречу безумию».

Воронского дополняет Абрам Эфрос, считающий ум просто-напросто для художника вредным. Мыслям Воронского вторит Пришвин, указывающий, что искусство «должно охранять жизнь от стирания лица», от того «стирания лица», которое присуще науке и политике. Кон-

кретно-критические оценки Воронского комически развивает Пакентрейгер, объявляющий Вс. Иванова, и именно в «Тайное тайных», художником революционной Азии. Вслед за Воронским, Горбов не видит классовых делений литературы, а замечает лишь два художественных направления — реализм и Леф. Импрессионизм Воронского гиперболизируют все перевальцы, лепечущие о моцартианстве, трагедийности, движничестве и т. п.

Итак воронщина — знамя художественной реакции в условиях обостряющейся классовой борьбы.

Именно поэтому нашей задачей является добиться для воронщины отставки столь же прочной, как и та, которая досталась на долю самого Воронского.

ЭПИГОН ПЕРЕВЕРЗИАНСТВА

О КНИГЕ А. ЗОНИНА «ОБРАЗЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

Существуют черты, общие для всех эпигонов. Не обладающим мужеством своих учителей, иногда даже искренно не видящим в их произведениях образцов своих собственных работ, эпигонам свойственные расслабленность и половинчатость, измельчание приемов и идейного содержания творчества и исследования. Но отступление от учителя эпигонам никогда не удается довести до конца. Эпигон не умест выйти за пределы того старого качества, которое создано в расцвете данного литературного или теоретического течения. Боясь походить на своего учителя, декларативно отрекаясь от него, эпигон в то же время, забываясь и увлекаясь, доводит в отдельных случаях положения учителя до такого абсурда и такой нелепости, до которых далеко даже его родоначальнику. Не обладая — пусть и относительно — талантом и оригинальностью человека, положившего начало тому или иному направлению, являясь лишь подражателем и копиистом, эпигон более всего уверен в собственной оригинальности, он более всего страдает самодовольством.

Всеми этими чертами и обладает эпигон переверзианства — А. Зонин, заявляющий, что он стоит на позиции, «диаметрально противоположной» позиции Переверзева.

Характерные особенности переверзианства, как литературоведческого течения, можно сформулировать следующим образом: понимание художественной литературы не как идеологии, а как объективного выражения «социального характера», социальной группировки, обусловившей возникновение данного

произведения; игнорирование связей художественной литературы с другими идеологическими надстройками и непосредственное выведение ее из экономического базиса, причем, именно в связи с признанием бесспорной объективности изображения «социального характера» в художественной литературе, экономический базис вычитывается из последней; отрицание возможности сколько-нибудь верного изображения в литературе всех других классовых групп, за исключением той, «социальный характер» которой лег в основу данного художественного произведения; отрицание возможности перехода того или иного писателя от одного класса к другому; игнорирование мировоззрения писателя.

Все эти особенности в специфической форме, свойственной эпигонам, и характеризуют работы А. Зонина.

В этом смысле наиболее показательны конкретно-критические работы Зонина, где его меньше всего маскируют и меньше всего ему помогают скользкие и увертливые формулировки его теоретических воззрений.

Поэтому мы и остановимся главным образом на работах Зонина, рассматривающих творчество Л. Н. Толстого.

Совершенно очевидно, в какой мере невозможно, оставаясь на переверзианской колокольне, понять и применить для конкретного исследования произведений Толстого гениальные ленинские указания; ведь Ленин говорил о том, что Толстой «порвал со всеми привычными взглядами этой среды» (среды «высшей помещичьей знати»), ведь Ленин сказал, что «в произведениях Тол-